

# ТЕОРИЯ, ИЛИ «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

## *История Феминизма*

*Джоан У. Скотт*

В 1974 году Лоис Бэннер и Мэри Хартман опубликовали сборник статей, который назвали «Пробуждение сознания Клио»<sup>1</sup>. В нем были представлены материалы Беркширской конференции по женской истории, и для многих из нас это стало призывом, выражением наших стремлений сделать женщин достойным объектом исторического исследования. Пусть Муза истории слишком долго пела хвалебные песни мужчинам («прославляя несчетные великие деяния древности в назидание вечности»<sup>2</sup>), теперь настало время воздать славу женщинам. Вторая из девяти дочерей Зевса и Мнемозины (памяти), Клио занималась историей (и, по некоторым другим источникам, также эпической поэзией как вариантом истории). Наш вызов ей казался простым: поместить женские истории в самую сердцевину памяти, которую она передала смертным людям. Чтобы упростить ее задачу, мы предоставим ей необходимые материалы: истории жизней и деяний женщин прошлого.

---

Перевод с английского Ольги Липовской

Редакция благодарит Джоан Скотт за статью, предоставленную специально для публикации в журнале «Гендерные исследования».

Эта статья была написана как выступление на пленарном заседании Американской Ассоциации Историков по теме: «Будущее феминистской истории» в Чикаго в январе 2003 года. Я благодарна Линн Хант за приглашение принять участие в этой встрече и моим коллегам, выступавшим со мной - Эвелин Хаммондс и Афсанех Наджмбади за их комментарии. Критические замечания Венди Браун, Ардис Камерон, Денизы Райли, Джудит Суркис и Элизабет Вид помогли мне отточить аргументы в этой отредактированной версии. Мне повезло с такими проницательными и щедрыми подругами.

Конечно же, ни один вызов богам не дается легко, и наши усилия легко могли показаться высокомерными, потому что нам казалось, что мы можем сказать Клио, что она должна говорить. Музы назначали страшные кары тем, кто посягал на их величие и хотел соперничать с ними. Когда Пиэриды попытались перепеть Муз, они превратили их в сорок, уток и других дурноголосых птиц. Когда Сирены заявили, что поют лучше Муз, те выщипали у них перья, чтобы украсить ими себе головы. Менестрель Тамирис был ослеплен ими и послан в Аид за то, что похвалялся, будто его пение прекраснее пения Муз. И, хоть и не так жестоко, но они оставили за собой последнее слово в споре с Прометеем, заявлявшим, что это он, а не они создал буквы алфавита. Обо всем этом можно было бы спорить, если бы, как говорят нам хроники, «не музы сочинили все истории, включая и рассказ Прометея»<sup>3</sup>.

Но нашей целью было не столько соперничать с Клио, сколько уподобиться ей, хотя в подобном подражании всегда есть доля конкуренции. Как и она, мы хотели поведать миру поучительные истории, смысл которых был гораздо глубже их буквального содержания, открыть некую, более великую истину о человеческих отношениях - в нашем случае, о гендере и власти. Как и она, мы хотели, чтобы нас признали как истинных носителей правдивых историй, хотя у нас не было классических мифов для подтверждения наших претензий. Как и она, мы также хотели, чтобы нам принадлежала вся история: мы не просто приписывали женщин к уже существующим томам историй, мы хотели найти способ, чтобы рассказывать их по-другому. Отождествляя себя с Клио, мы выражали двойной смысл нашего феминистского проекта: фундаментально изменить саму дисциплину, включив в историю женщин и заняв в ней достойное место как историки.

В последние несколько десятилетий можно было наблюдать осуществление обеих этих задач. Конечно, наши достижения не идеальны: ни женская история, ни женщины-историки не являются вполне равноправными участниками в этой дисциплине, и мы переписали еще далеко не все истории. Временная и географическая неравномерность наших достижений - в современной Евро-Американской истории удалось достичь гораздо большего, чем в древней, средневековой, ранней новой истории и не-западной истории; гораздо больше успехов во включении женщин в историческую картину, чем в ее переосмыслении в терминах гендера - говорит о том, что многое еще должно быть сделано. Однако, достижения неопровержимы. В отличие от Клио, мы не можем наказывать тех, кто отрицает наши успехи, равно как не можем мы и просто умиляться глупости тех братьев Прометея, которые считают только себя настоящими изобретателями, третируя нас как подражателей или узурпаторов. (И нас это все еще злит). Впрочем, мы можем предьявить горы написанных трудов, впечатляющее присутствие в академических структурах, весомый список журналов и заметное влияние на общественное сознание, кото-

рое было немислимо в те времена, когда Бэннер и Хартман почти тридцать лет назад опубликовали свою книгу. Пусть мы не захватили всю историю, но мы заявили о своей доле в этом поле; когда-то считавшиеся правонарушительницами, теперь мы обладаем законным званием.

Но право собственности, для тех, кто начинал в качестве революционерок, - это всегда сомнительное достижение. Это и победа, и распродажа одновременно, торжество критического подхода, и отказ от него. Для феминисток, которые, невзирая на насмешки социалистов в девятнадцатом и двадцатом веках, оставались революционерками, верными идее свержения патриархата, разрывали цепи сексистского угнетения, освобождали женщин от унижительных стереотипов, выводили женщин на сцену истории, это положение не из легких. Реализация, пусть и некоторых позитивных изменений в последнее десятилетие, - которые я обозначила как достижение для историков права собственности на часть поля - породила некоторую двойственность и неуверенность в будущем. Выиграли мы или проиграли? Изменил ли нас самих этот успех? Как переход из статуса воинственного аутсайдера в статус признанного инсайдера влияет на наше самоощущение? Изменилась ли эта наука от нашего присутствия или просто поглотила нас? Должны ли мы удовлетвориться сохранением и воспроизводством того, что получили? Или, может быть, лучше реагировать на новые посягательства на нашу собственность? Есть ли у женской истории будущее или это уже история? И каким мы могли бы представить свое будущее? Таковы вопросы, которые стоят также и перед женскими исследованиями, и перед феминизмом.

С приближением нового тысячелетия в Соединенных Штатах организовывалось бесчисленное количество конференций, посвященных размышлениям о будущем. Приведу только два примера: в 1997 г. я редактировала специальный выпуск журнала «Различия» (*Differences*), озаглавленный «Женские исследования на пределе» [*Women's Studies on the Edge*] - название, данное по ассоциации с фильмом Педро Альмодовара «Женщины на грани нервного срыва». Несмотря на то, что мы придумали название в шутку, эта ассоциация показала нам, насколько некоторые из нас нервничают при упоминании о будущем<sup>4</sup>. В 1999 г. Журнал Женской Истории организовал восхитительный обмен мнениями между разными поколениями американисток: Анной Фирор Скотт, Сарой Эванс, Элизабет Фауе и Сьюзан Кан<sup>5</sup>. (Они связаны между собой: Скотт была преподавательницей у Эванс, а Эванс учила Фауе и Кан). В этой дискуссии, в целом охватывающей многие темы, женщины-историки все время избегали темы будущего (несмотря на то, что она была заявлена как тема обсуждения). В какой-то момент Анна Скотт призналась, что когда она задумывается о том, «где должна, или может оказаться женская история в перспективе», она «упирается в стену» (с. 29). Лиз Фауе полагала, что нам нужно «сделать паузу, чтобы помечтать», включить воображение и творческие возможности,

чтобы выбраться из тупика (с. 211). Но Сара Эванс обобщила их общее замешательство: «Ах, будущее, - вздохнула она. - Я согласна, ...что именно эта тема разговора мне кажется самой опасной» (с. 205).

Почему же так трудно представить себе будущее успешного движения? В каком-то смысле мы уже знаем ответ - это своего рода анализ общественного движения. Старшее поколение феминистских исследовательниц-активисток ностальгически заглядывает в свою безумную молодость и задается вопросом: все ли их достижения стоили усилий? Институционализация женской истории означает ее завершение как кампании. Наши исследования и профессиональная деятельность как будто утратили политический накал и ощущение, что мы хотели большего, чем просто построить личную карьеру. Сообщество исследовательниц-феминисток, которое бурлило жесткими противоречиями и общей приверженностью идее, сегодня кажется разобщенным. И, по крайней мере, в среде женских историков теоретические позиции не воспринимаются как очень важные, разногласия видятся, скорее, как личные или поколенческие. И хотя можно испытывать облегчение от того, что отпала необходимость конспирации ночных стратегических собраний, постоянного доказывания собственного профессионализма и правоты своих студентов перед скептическими коллегами, а также радоваться количеству, качеству и разнообразию работ, написанных под рубрикой «женская история», ощущение потери все же остается. Для многих из нас эта борьба была источником энергии, она стимулировала стратегическое и интеллектуальное творчество, несравнимое с нашими аспирантскими впечатлениями. Мечтая стать Клио, мы превратились в ее революционную версию: активизм подтверждал необходимость взаимной поддержки. Мы были производительницами нового знания, переносчицами обновленной памяти, сочинительницами рассказов, призванных вдохновлять нас и грядущие поколения - все это перед лицом оппонентов, более опасных, чем Пиэриды и Сирены, оппонентов, обладавших властью карать нас за то, что они считали необоснованными претензиями и дурным поведением. Бывшие мятежницы, мы сами стали блюстителями дисциплины, и доля разочарования неизбежна при такой смене самовосприятия. Одно дело - критиковать дисциплинарную власть извне, и совсем другое - находиться внутри ее, преподавая устоявшиеся дисциплины. Такое преподавание неизбежно ищет путей для воспроизводства феминистской истории сменяющимся поколениям студентов, но оно, зачастую, противостоит тому критическому вызову, который раньше был ее определяющей характеристикой.

Приобретя институциональную весомость, академический феминизм, вместе с этим, как будто потерял связь с политическим движением, которое его вдохновляло. В 1970-х и 1980-х мы были силой, производящей знание для широкого феминистского движения, верившего в радикальные общественные

перемены. В 1990-х последовали критические нападки и, нагруженные комплексом вины, обвинения в угасании связей между теоретиками и общественным движением, равно как и призывы сохранять и восстанавливать эти связи. Но эти попытки провалились не потому (как обычно утверждают), что ученые скрылись в башне из слоновой кости (противопоставление академических и политических феминисток всегда было надуманным), а потому, что само политическое движение стало разрозненным, рассредоточилось по разным сферам активизма. Это не означает, что, как утверждают журналисты, феминизм умер. Скорее, интерес к положению и статусу различных групп женщин распространился в среде гораздо более широкого спектра правовых и политических проблем, чем это было на пике движения, равно как и вопросы гендера перетекли в те сферы науки, которые в былые времена сопротивлялись любым формам женских исследований<sup>6</sup>.

Разрозненные, но скоординированные стратегические действия совместно с другими группами пришли на смену ощущению непрерывной борьбы от имени женщин, которые представлялись единой сущностью. Эта утрата связана с потерей возвышенного телеологического контекста эмансипации, который в свое время позволял нам ощущать силу наших совместных действий: свобода и равенство были неизбежными результатами человеческой борьбы, мы верили, и эта вера придавала логическую обоснованность нашим действиям, делала нас участницами прогрессивного «движения». (Мы были на стороне спасительной истории). И хотя разрозненность и отрывочные стратегические действия безусловно политичны по своей природе (а для более юного поколения - это привычный способ функционирования), утрата взаимосвязи, последовательности, возникающая вместе с утверждением, что история неизбежно прогрессивна, помогает объяснить, почему старшему поколению так сложно представить себе будущее. (Они считают, что прерывность регрессивна, а противоположность ей - прогрессивна, как это представлялось тем, кто видел, как фашизм в Европе разрушил либеральные институты в 1930-х, тогда как, в сущности, сегодня, в контексте двадцать первого века, прерывность представляется мне гораздо теснее связанной с радикальной (левой) критикой).

Другим аспектом успешной институционализации женской истории является сглаживание острых краев, которые присущи маргинальности. В 1980-х происходило немало споров (возможно, чаще в среде литераторов, чем историков) о безусловном преимуществе интеграции (в академические структуры). Является ли отсутствие женщин в университетской программе всего лишь пробелом, который нужно заполнить? Или это означает глубинную проблему патриархатной (а может быть, фаллоцентрической) организации познания как такового? Как могут повлиять женские исследования на высшее образование? Добавим ли мы просто недостающую информацию, или изменим саму природу

того, что считается знанием? Противоречат ли обе эти задачи друг другу? «До тех пор, пока женские исследования не поставят под вопрос существующую модель университета, - сказал Жак Деррида на семинаре в Пемброук Центре в 1984 г. - они рискуют превратиться в еще одну ячейку университетского улья»<sup>7</sup>. Некоторые утверждали, что, по определению, само женское присутствие (в университетских учебниках и на исторических факультетах, откуда женщины обычно были исключены) уже является подрывом *status quo*. Являлось ли само «становление видимыми» вызовом доминирующей ортодоксальной исторической науке, которая настойчиво исключала женщин из истории и политики? Другие из нас настаивали на том, что радикальный потенциал женской истории будет утрачен без глубинной критики базовых установок этой дисциплины (например, ее положения о том, что деятельность является чем-то внутренне присущим воле индивидов; ее невнимательности к роли языка в конструировании субъектов и их идентичностей; ее нехватке рефлексии по поводу скрытой интерпретативной власти нарратива). Знаменательно и то, что бурные споры на тему «реформа или революция» исчезли из дискуссий женщин-историков. По достижении некоторых реформ, острые вопросы стали, скорее, модными сюжетами: излишняя специализация, перепроизводство и фрагментаризация, которые ослабляют единство сообщества феминистских исследовательниц и делают невозможным любое развитие всего корпуса женской истории. Даже те, кто имеет один и тот же список литературы, чаще обсуждают преимущества той или иной интерпретации, нежели то, как это будет способствовать развитию критических феминистских идей. Озабоченные тем, как организовать программы, проведением или внедрением устных занятий, курированием начинающих студентов и пристраиванием аспирантских диссертаций, мы видим будущее как продолжение настоящего, а не как освобождение от него. И еще одна причина, почему нам так трудно смотреть вперед - университет, с которым мы срослись, сам переживает большие структурные изменения. Былые критики извне, мы стали защитниками изнутри, стремимся сохранить эту структуру - самоуправляемую преподавателями, гарантирующую постоянную работу, производящую знание, пространство для критических исследований - от тех, кто хотел бы преобразовать все это в корпоративную модель, где, как сказал Билл Ридингс, «клиентам предлагают услуги за деньги»<sup>8</sup>. Необходимость предотвратить «разрушение» университета нередко превращает феминисток, скорее, в защитниц установленного порядка, статуса кво, нежели в сторонниц перемен. Есть соблазн использовать наши аналитические способности и закрепить достигнутый успех, защитить его от разрушения президентами антрепренерских коллегий и членами правления, которые считают идеи товаром, а ученых продавцами, а не творцами идей. Приходится сотрудничать с коллегами, бывшими противниками, в борьбе за общее дело - сохранение академии в ее былом виде. В этой ситуации призывы к радикальному

пересмотру всей системы кажутся неуместными, если не опасными. И, в результате, мы неусыпно стережем границы своей вотчины, боремся с нечестным распределением ресурсов, всегда насторожены против вторжения в наше поле чужаков из новых, более привлекательных областей исследования, и, боясь прихода новых топографов, которые перепишут наши карты, по которым мы так хорошо ориентировались. Наш протекционизм порой заводит нас так далеко, что мы готовы сотрудничать даже с теми администраторами, которые делают товар из мысли. Если мы действительно одна из ячеек университетского улья, в наших интересах не только сохранить свое положение в ячейке, но и здоровье всего улья. Защита статус кво (а гуманистические принципы к этому обязывают) кажется сейчас гораздо более важной, чем мечты о радикальных преобразованиях. Мне кажется, что сейчас мы являемся свидетелями того, что Нэнси Котт, говоря о пост-суффражистском периоде, назвала «заземлением современного феминизма» - практической реализации (с неизбежной утратой) идеалов и освободительных требований; принятия того, что дано, вместо упорной борьбы за то, что должно быть; одомашнивания страстных желаний<sup>9</sup>.

Страстное желание - это дар Муз, некое безумие, которое охватывает, воспламеняет и трансформирует субъекта. По Платону, оно «захватывает нежную, невинную душу и побуждает ее к страстному порыву . . . Но если кто-либо подойдет к вратам поэзии не облеченный безумием муз, следуя лишь мастерству, он станет хорошим поэтом [мы могли бы заменить "хорошим историком в своей дисциплине"], но тогда он, и его труд разума . . . превратится в ничто»<sup>10</sup>.

Наш тщательный анализ структурных причин и следствий подъема и упадка общественных движений не оставляет места для божественного безумия (не позволяет нам разглядеть, как оно действует), но, если мы творим вместе, или как Клио, нам следует задуматься об этом. И, если мы этого ищем, мы найдем подтверждение его значимости для способности вообразить себе будущее. Вновь и вновь в меж-поколенческих дискуссиях, опубликованных в этом издании, историки рассказывают о своем увлечении женской историей на языке страсти, что свидетельствует о вдохновении и восторге, навеянных Музами. Сара Эванс говорит о женской истории как о «страсти, вместившей всю ее жизнь» (с. 11); Лиз Фауе вспоминает о том, как в аспирантуре у нее пробудилась «страсть» к женской истории (с. 13) и о том, как страшно волновали ее «и новые слова, новые идеи и новые впечатления, смешанные» как в «неистой какофонии» (с. 23); Энн Скотт вспоминает, как она выступила со «страстным призывом» на собрании Организации Американских Историков, требуя внимания к тем, кого не замечают традиционные историки (с. 19); а Сюзан Кан упоминает о своем «страстном» увлечении феминизмом/историей (с. 15). Рассматривая нынешнюю ситуацию с получением постоянных преподаватель-

ких позиций, Сара Эванс сожалеет о том, что студенток(ов), «страстно увлеченных женской историей», нынешняя ситуация на университетском рынке труда может отпугнуть от следования своему желанию (с. 214).

Не исключено, конечно, что страсть здесь звучит как рефрен, и даже с оттенком морализаторства. Однако, я думаю, что она, скорее, свидетельствует о глубинных чувствах с эротической составляющей. Мир, пробужденный идеей страсти - это «женский мир любви и ритуала», который так блистательно описала Кэррол Сми-Розенберг в 1975 г. Существова в условиях нормативной гетеросексуальности (и завися от них), этот мир оставался глубоко «гомосоциальным», и поэтому восхитительным<sup>11</sup>. Бонни Андерсон (в «Приветственных посланиях») и Лейла Рапп (в «Женских мирах») описывают международное феминистское движение похожими словами<sup>12</sup>. Женская история, до своей институционализации, была такой же, как это движение в девятнадцатом и начале двадцатого века. Со всей силой этой либидональной энергии, посвященной женщинам - объектам исследования, субъектам права, студенткам, коллегам и подругам, усиленной возбуждением от посягательства на чужую территорию, - мы нахально требовали прежде отрицаемого права на доступ к области истории. Мужчины присутствовали, конечно, как мишени для гнева, как захватчики власти, чье сопротивление или равнодушие нужно было побороть, но по большому счету они не имели отношения к опыту движения. Мужчины были врагами, против которых наше политическое и аффективное сообщество определялось.

Одно из препятствий, мешающих нам сегодня думать о будущем, - это симптом меланхолии, нежелания расстаться с глубокой эмоциональной привязанностью к тому гомосоциальному миру, который мы потеряли, в сущности, даже нежелания признать эту утрату. Меланхолики хотят повернуть время вспять, жить как прежде. Меланхолия, как говорит нам Фрейд, это «реакция на утрату любимого человека, или утрату некоей абстракции, которая связана с любимым, например, своей родины, свободы, идеала и так далее»<sup>13</sup>. В отличие от скорби, которая осознанно относится к утрате, меланхолия - это бессознательный процесс; утраченный объект не понимается как таковой. Вместо этого меланхолик идентифицируется с утраченным объектом и переносит свое горе и гнев на себя. У меланхолического субъекта «тень [утраченного] объекта падает на эго, и именно оно подвергается суду ... как будто оно и есть утраченный объект»<sup>14</sup>. Этот суд суров, и естественный процесс, посредством которого сексуальная энергия (либидо) направлена на другой объект, нарушен. Направив его на себя, меланхолик обитает только в прошлом. Для того, чтобы смочь подумать о будущем, нужно отделить себя от утраченного объекта, признать утрату и найти новый объект страстной привязанности<sup>15</sup>.

Нет сомнения в том, что, когда женская история достигла зрелости, страсть борьбы за ее законное место в истории утихла. Тем не менее, нам еще много



предстоит сделать в этом неравномерно развивающемся поле, былые восторги открытий уже не вдохновляют нашу деятельность как прежде. Во-первых, жизнь на исторических факультетах (как и в университетах, в целом) - гетеросоциальна (пусть даже программы женских исследований гомосоциальны); наш мир уже не чисто женский. Во-вторых, развитие этой сферы исследований породило немало инноваций. И не только потому, что, прислушиваясь к критике цветных женщин, женщин третьего мира и лесбиянок в 1980-х, мы приняли за аксиому различия в женском опыте; а также и потому, что, оттачивая теорию, мы все больше заменяли женщин гендером, сделав его предметом исследования. В результате, научные труды, которые мы производим, больше не воспринимают женщину как единственный субъект исследования. И это значит, что объединяющая сила движения - женщины, как субъект и объект их собственной истории - исчезла, если когда-либо вообще существовала. (Далее я попробую доказать, что эта сила в большой степени была сформулирована задним числом, как результат ностальгии, или меланхолии)<sup>16</sup>.

В дискуссии, приведенной в *Журнале женской истории*, Лиз Фауе использовала профессиональную метафору, чтобы описать перемены, произошедшие в среде женской истории в последние десятилетия. Она сказала, что ремесленники и их подмастерья умело скроили истории, «которые имели политическое значение и добротную методологию» (с. 210). Впоследствии им пришлось конкурировать с «другими историками», которые, либо в силу меньшей приверженности к феминизму, либо, увлекаясь «модными теориями» (или по обоим причинам), заполнили рынок массовой продукцией второсортных поделок. И хотя гильдия ремесленниц производила работы высокого качества, стало трудно отличить их от дешевых товаров. В результате обесценилось все производство. Коллеги Фауе отвергли это сравнение как неуместное (Сюзан Кан отмечает, что «фактически, недостатка в производстве «плохой» истории у старой «ремесленнической» школы тоже не было» (с. 215), и Лиз не особенно настаивала на своем образе. (Особенно приятным аспектом этой дискуссии, ставшей возможной благодаря обмену по электронной почте, представляется увлеченность, изобретательность и открытость ее участниц). Мне кажется, что использование пролетаризированного образа говорит само за себя. Не потому, что оно применимо к феминистской истории (как бы там ни было, но именно теории о социальных движениях, а не о профессиональных трансформациях были бы более уместны для сравнения), а потому, что это повторяющаяся тема, которую поднимали рабочие в девятнадцатом и двадцатом веках, и историки, изучавшие труд и производство - оплакивание докапиталистического «мира, который мы потеряли». То, как Фауе использует тему пролетаризации, отображает эмоциональную утрату в более привычных (и более отстраненных) экономических терминах. Это, как я полагаю, по крайней мере, отчасти, происходит из-за невозможности открыто признать эмоциональную утрату

(страстную идеализацию тех женщин, которые создавали феминистскую историю), из-за чего (как формулирует это Фауе) «так трудно что-то увидеть сквозь пелену, скрывающую будущее от настоящего» (с. 211).

«Пелена, скрывающая будущее», - это фрейдовская «тень объекта» - меланхолия. Для меня это означает, что мы перепутали объект нашей страсти, приняв «женщин» за восторг нового и неизведанного. Что если наше представление, будто мы знаем, что такое феминистская история, блокирует это божественное безумие, вдохновенное возбуждение, которое и есть столкновение с неизведанным. Что было бы, если бы мы переписали Историю Феминизма как рассказ об обмене страстной критической мыслью, скользя по метонимическому ряду вдоль цепи смежных объектов, строясь в ряд в неожиданном месте, выполнив задачу, и затем двигаясь дальше? Я использую понятие «История Феминизма» не только для обозначения феминистской истории и истории, написанной феминистками, но также и в качестве инсинуации, намека, вроде «вы ведь знаете, что у женщины есть история».

Как минимум, начиная с девятнадцатого века, феминизм использовал историю по-разному в разное время, как критический инструмент в борьбе за эмансипацию женщин. История Феминизма демонстрировала в виде примеров-сюжетов прошлого способность женщин участвовать в той же деятельности, что и мужчины (зарабатывание средств, образование, гражданство, власть). Она представила образы героинь для подражания и поколения предшественниц современных активисток - родство с фиктивными семьями творцов истории. Феминистская История разоблачила инструменты повествований патриархальной власти, которая объясняла исключенность женщин как природный факт. И она написала новые истории, чтобы ответить на «ложь» о пассивности женщин и на стирание упоминаний о них из записей, которые формируют коллективную память. Она не только оспорила стереотипные представления о «женщине», но и утверждала глубинные различия между «женщинами». И она же создала неслучайное количество союзов, сосредоточенных на различных аспектах власти, ради достижения своих целей. История Феминизма - это и объединение женских опытов, и описание различных стратегических действий, предпринятых в защиту женского дела. Она, конечно же, может оставаться сама по себе, но ее лучше воспринимать как двойной критический подрыв: доминирующих нормативных кодов гендера и (с момента формирования истории как дисциплины в конце девятнадцатого века) правил исторического письма. История Феминизма это меняющийся, мутационный процесс, гибкий стратегический инструмент, не сдерживаемый никакой ортодоксальностью. Производство знания о прошлом, пусть и важное само по себе, не было для нее самоцелью, но скорее (в определенные моменты - но не всегда на службе у организованного политического движения) предлагало самостоятельные понятия для критического воздействия, которое использует прошлое, чтобы сломать привычные установки настояще-

го и тем самым открывать возможности для представления иного будущего. Это критическая операция - это движущая сила феминизма; в терминах Лакана это операция желания, не удовлетворимого никаким конкретным объектом, «постоянное в своем напряжении», всегда в поиске обманчивого удовлетворения (обманчивого, потому что достижение утопической цели полного уничтожения сексуальных различий означала бы смерть феминизма)<sup>17</sup>.

Желание, как говорит нам Лакан, движимо нехваткой, управляемо неудовлетворенностью; оно «не удовлетворено, невозможно, неверно истолковано»<sup>18</sup>. Само его существование обнажает невозможность окончательного успокоения; всегда хочется чего-то большего. Желание движется метонимически; отношениям между его объектами свойственны неожиданные ассоциации. Оно движется в обход и не в одном направлении. Мы могли бы сказать, что для феминизма желание - это то, что его движет, или - точнее - само есть критическая способность, форма критики. Критика, как ее определяют немецкие философы (Кант, Гегель, Маркс, представители Франкфуртской школы), является такой же неудовлетворенной, бессознательной, страстной. Даже если ее формулировки рациональны, ее мотивации до конца не известны. Венди Браун и Дженет Нелли описывают критику как «разрушительное, дезориентирующее и порой разрушающее воздействие знания»<sup>19</sup>. «Утверждая подверженность критике всего, что произведено человеком, то есть возможность переосмысления, проверки основополагающих посылок, критическая деятельность потенциально безгранична, бесконечна»<sup>20</sup>. Объекты критики - это формы и проявления идеологии и власти (их подспудные истины, их базовые установки), а они так же непредсказуемы и многообразны, как объекты желания. Как говорят об этом Браун и Хелли, критика (как и желание) являет собой стремление; «она воплощает волю к знанию», которая содержит удовольствие - удовольствие, которое происходит от размышлений о неизведанном<sup>21</sup>. «Критика отваживается на открытие новых разновидностей мысли и политических возможностей, и в потенциале содержит возможность огромного удовольствия - политического, интеллектуального, этического»<sup>22</sup>. Это удовольствие содержит не просто позитивные эмоции, но страсть, оно обозначается такими формулировками, как «воспламененный дух», «эйфория» и «удовольствие само по себе как основной источник политической мотивации»<sup>23</sup>.

Толкование феминизма как неустанного критического действия, как движения желания, отделяет его от начальных истоков в идеалах Просвещения и утопических обещаний полной эмансипации. Это не означает, однако, что желание действует вне времени; скорее, это меняющийся исторический феномен, определяемый как сдвиг и через собственные перемещения. Феминизм возник в контексте заявлений либеральной демократии о всеобщем равенстве, оказавшись дискурсивно помещенным в противоречие и являясь таковым - не только на арене политического гражданства, но и во многих сферах экономи-

ческой и общественной жизни. Невзирая на множество изменений смыслов и практик либеральной демократии, ее дискурсивная гегемония остается прежней, и феминизм остается одним из ее противоречий. Привлекая внимание к себе как к противоречию, феминизм бросил вызов тем способам, которые использовали пол для организации отношений власти. Историческая особенность феминизма заключается в том, что он действует внутри и одновременно против господствующих установок своего времени. Его критическая сила обусловлена тем, что он обнажает противоречия в системах, которые претендуют на цельность (республиканская власть, которая отказывает женщинам в гражданстве; политическая экономия, которая объясняет более низкие заработки женщин их биологически обусловленной более низкой продуктивностью; медицинская наука, которая объединяет сексуальное желание с природной потребностью в воспроизводстве; исключение определенных групп из женского движения, которое претендует на всеобщую эмансипацию) и ставит под вопрос обоснованность категорий, принятых как первичные принципы общественной организации (семья, личность, рабочий, мужское, женское, Мужчина, Женщина)<sup>24</sup>.

Одним примером из наших времен критического феминистского действия может служить отношение женской истории к социальной истории. Часто упоминается, причем с определенной уверенностью, что женская история получила признание с возвышением социальной истории. Особое внимание к повседневности, обычным людям и коллективным действиям сделали женщин видимой социальной группой, достойной быть включенной. Я бы подошла к этому иначе: возникновение женской истории из социальной истории было вовсе не неизбежно. Напротив, утверждали феминистки, оперируя терминами и протестуя против основ бихевиоризма и нового левого марксизма, женщины стали необходимым объектом осмысления для социальных историков. Если бы ими пренебрегли, были бы утрачены основные объяснения того, как конструировался класс. Пока историки-мужчины прославляли демократические порывы зарождающегося рабочего класса, женские историки указывали на его гендерную иерархию. Мы не только указали на отсутствие женщин в истории труда и исправили ситуацию - мы действительно это сделали (мы показали, что понятие «рабочий» - исключаящая категория; что женщины были квалифицированными рабочими, а не просто дешевой рабочей силой; что женщины устраивали забастовки и организовывали союзы, а не были просто дамской вспомогательной силой) - но мы также и подвергли критике то, как историки труда воспроизводили мачизм профсоюзных деятелей. Это не очень вписывалось в общий контекст, и феминистки часто ощущали (и по сей день ощущают) себя на встречах историков труда загнанными в гетто. И все равно, мы испытывали возбуждение открытия, когда пытались показать коллегам неизведанные территории. В этой деятельности мы сумели убедить некоторых из них, что следует задуматься над тем, как гендер консолидировал идентичность мужчин

как рабочих и как представителей рабочего класса, и то, как использовалось понятие природы не только для того, чтобы оправдать разное отношение к мужчинам и женщинам-рабочим, но и для того, чтобы регулировать структуру семьи и типы занятости.

В истории труда (как и в других областях исторической науки - от дипломатической до культурной), отмечает Лиз Фауе, «женская история "сделала неизведанной" [*defamiliarized*] территорию других историков» (с. 205). Незнание - очень точное определение: безоговорочно принимаемые значения, понятия, которыми историки трактовали прошлое, список так называемых приемлемых для исторического исследования тем были поставлены под вопрос и было показано, что они не являются ни всеобъемлющими, ни объективными, как считалось ранее. То, что считалось немыслимым - использование гендера как инструмента исторического анализа, стало мыслимым. Но это не конец рассказа. Теперь уже получивший статус научной категории, гендер подвергается критическому анализу следующей волны феминисток и другими, кто справедливо настаивают на том, что это лишь одна из множества возможных осей различия. Пол не охватывает категории расы, этничности, национальности или сексуальности; эти составляющие идентичности пересекаются между собой, что тоже требует рассмотрения. Ограничение наших представлений о различиях между полами означает, что мы рискуем не увидеть сложные взаимосвязи отношений власти, маркированных различиями. Эта недавно ставшая безопасной территория гендера и женской истории опять становится неизведанной, теперь, когда квир-исследования, пост-колониальные и этнические исследования (наравне с другими) заставляют нас раздвигать границы знания, метонимически скользить (или перепрыгивать) в смежные пространства. Некоторые считают, что еще рано разветвляться, пока мы не собрали воедино все наши достижения, но это неверное понимание Истории Феминизма. Стремление воспроизводить то, что уже известно - глубоко консервативно, исходит ли оно от традиционных политических историков или историков женщин. То, что делает - сделало - Историю Феминизма такой захватывающей как раз и есть радикальный отказ обустроиваться, называть даже комфортабельное жилище «собственным домом».

Меланхолия покоится на фантазии о доме, которого на самом деле никогда не было. Наша идеализация интенсивно политического, ориентированного на женщин момента недавней феминистской истории и наше желание сохранить его (говоря о нем как о сущности женской истории) не допустило нас до признания восторга и энергии критической деятельности, которая была и по сей день является определяющей характеристикой феминизма. Феминистская история никогда не фокусировалась на документальной регистрации опытов женщин прошлого, даже если это были наиболее очевидные способы для достиже-

ния нашей цели. Мы заглядывали в прошлое для того, чтобы дестабилизировать настоящее, бросить вызов патриархальным институтам и тем способам мышления, которые объявили себя естественными, заставить думать о неммыслимом (например, отделить гендер от пола). В 1970-х и 1980-х женская история была частью движения, которое объединило самовосприятие женщин как политических субъектов, способствуя активизму во многих сферах общества и добиваясь беспрецедентного всеобщего внимания и, в конечном итоге, определенного успеха. Поправка о Равных Правах не прошла законодательное утверждение, но прошли другие антидискриминационные меры. Статья IX оказала огромное воздействие, как и аффирмативные действия и кампании по выявлению и наказанию сексуальных домогательств. Патриархат не свергнут, гендерные иерархии сохраняются, и откат назад [*backlash*] очевиден (последний пример - рассуждения об эволюционной биологии), но немало барьеров, стоявших перед женщинами (в особенности белыми, образованными, из среднего класса) было уничтожено. И ООН предложила всему миру признать права женщин как права человека. Статус женщин как субъектов истории, как субъектов, производящих историческое знание и как субъектов политики, как будто уже утвержден в принципе, пусть не всегда на практике.

Общественное признание женской идентичности как политического субъекта сделало излишним историческое конструирование этой идентичности - ничего нового в этом пространстве уже было не найти. Истории, восхваляющие деяния женщин, стали казаться предсказуемыми и повторяющимися, всего лишь добавочной информацией в доказательство уже доказанного. Более того, в последние десятилетия двадцатого века, политика идентичности совершила меланхолический, консервативный разворот (как убедительно продемонстрировала это Венди Браун)<sup>25</sup>. На первый план вышли жертвы и их страдания, и, хотя по их поводу было потрачено немало усилий, все-таки описание женщин как израненных жертв не воздействует ни на творческих политиков, ни на историю. Также все труднее становилось свести в одну категорию различия среди женщин, даже сделав ее множественной. Понятие «женщины» (как бы оно не видоизменялось) слишком сильно ассоциировалось с белыми, западными, гетеросексуальными женщинами, стало недостаточно емким, чтобы вместить все различия, которые следовало учитывать. Казалось, что возникновение новых политических движений требует новых видов политического субъекта. Отдельные идентичности уже не имели былого эффекта, были недостаточны для конструирования множественных, меняющихся стратегических союзов. В этих условиях новое поколение феминисток направило свои критические линзы на само конструирование идентичности как на исторический процесс. В попытках сделать неузнаваемыми современные теории идентичности, они заострили внимание на том сложном процессе, в котором функционирует понятие идентичности «женщины» и не только в значении гендера. Если раса, сексуаль-

ность, этничность и национальность играют значительную роль в определении «женщины», тогда гендер - недостаточно полезная категория для анализа.

Но способ, которым я излагаю события, обуславливает сингулярный нарратив, хотя в действительности все было не так. Мы не так уж гладко продвигались от гендера к критике формации субъекта. История Феминизма в те годы это не рассказ о едином наступлении (Клио, вооруженная гендером, поющая славу женщинам). Даже когда идентичность «женщины» была собрана воедино, даже когда женщины считались главным объектом наших изысканий, и тогда звучали критические, возражающие голоса, указывающие на ограниченность «женщин» и «гендера», предлагая другие объекты исследования и различные теории для исторического анализа различий между полами. Гейл Рубин в 1975 (помимо всего остального) открывает дорогу для переосмысления и исторического анализа нормативной гетеросексуально сти<sup>26</sup>. Натали Дэвис предостерегает нас в 1976 от изучения женщин, а не гендерных групп, и отказывается от редукционистских толкований символов мужественного и женственного, напоминая нам о множественных и сложных исторических смыслах этих категорий<sup>27</sup>. На IX Конференции Барнардского университета об Ученом и Феминистке в 1982 г. происходит раскол из-за дебатов о том, какое место должен занимать секс в описании женских достижений<sup>28</sup>. Дениза Райли в 1988 г. выдвигает тезис о том, что категория женщин это не базовая, а историческая категория<sup>29</sup>. В следующем году Энн Снитоу заявляет, что феминизм раздирают два противоречивых желания - одновременно схожести и различия<sup>30</sup>. Эвелин Брукс Хиггинботем, пытаясь избежать угрозы примитивного противопоставления белых и черных женщин, рассуждает о «мета-языке расы» в 1992 г. «Если феминистки полностью осознают расу как неустойчивую, смещающуюся и стратегическую реконструкцию, - пишет она, - им придется столкнуться с новыми задачами по замене смыслов и отказе от многих положений, лежащих в основе современной афро-американской истории и женской истории. Нам нужно проблематизировать гораздо больше из того, что мы принимаем как данное. Нам надо вынести на свет и упорядочить многое из того, что мы представляли и представляем в истории»<sup>31</sup>. Афсанен Надждабади в 1997 г. заявляет о своем «не очень тайном удовольствии от невозможности или нежелания идентифицировать себя в [признаваемых терминах идентичности], независимо от того, сколько раз будучи гибридизированной», и ниспровергает эти термины в своей работе о гендере и построении нации в Иране<sup>32</sup>.

Я перечисляю эти примеры с указанием дат не для того, чтобы проиллюстрировать процесс накопления, позволивший нашей деятельности становиться умнее или мудреней. Все как раз наоборот. Критический пересмотр как мейнстримовских, так и феминистских доминирующих категорий происходит постоянно; и объекты критики все время меняются (приведенные примеры - иллюстрация метонимического скольжения, о котором я говорила раньше).

Фактически, в этом буйстве разнородных исследований («дикая какофония» у Лиз Фауе), многие объекты накладываются друг на друга и сосуществуют друг с другом (среди них и сексуальность, и раса, и символы маскулинного и фемининного, меняющиеся репрезентации и толкования гендера и расовых различий, пересечения расы, этничности и гендера в конструировании нации). Именно эта критическая деятельность - неустанное задавание вопросов тому, что принималось как данное - все время заставляет нас двигаться куда-то, от предмета к предмету, от настоящего к будущему. Те изложения, которые настаивают на том, что «женщины» являются (являлись и должны являться) единственным субъектом/объектом феминистской истории, принимают слишком избирательную позицию, которая затуманивает динамичное многообразие, позволяющее представлять себе будущее. Конечно, были и стойкие попытки определить границы, и эти избирательные позиции - пример того, но пользы от них нет никакой: не принимая во внимание разбитые сердца стоящих на страже, феминистское критическое желание движется своим путем. Это не предательство и не отступничество, это триумф; именно таким образом может оставаться живой страсть феминистского критического духа.

Я доказывала, что главной ролью феминистской истории не являлось производство женщин как субъектов, но расследование и оспаривание средств и эффектов производства субъекта как оно изменялось в зависимости от времени обстоятельств. Удовлетвориться любой идентичностью - даже той, которую мы помогли произвести - означало бы прекратить работу критики. Это касается нашей идентичности как историков и как феминисток: завоевав место в профессии, разоблачая ее политики формирования дисциплины, мы не имеем права успокаиваться и поддерживать существующие правила, даже если сами участвовали в их создании. Дело здесь не в анархическом отказе от дисциплины, но в подрывном использовании ее методов и в более осознанном стремлении рассматривать темы и подходы, которые когда-то считались за пределами. Нас соблазняет именно то, чего мы не знаем; новые истории, которые мы жаждем рассказать. Наша страсть к женской истории была желанием узнать и осмыслить то, что считалось ранее невысказанным. Страсть, в конечном счете, питается стремлением к еще не познанному.

Интердисциплинарность стала одним из найденных нами способов рассказывать новые истории. И это стало критерием, маркой феминистской науки. Семинары по женским исследованиям, программы и факультеты стали местом для формулирования нового знания. Они обеспечили поддержку исследований, которые не могли бы выжить в условиях традиционных факультетов; они узаконили положение тех, кто не мог рассчитывать на устойчивые позиции в академии. Вопросы задавались со всех сторон (возникали за пределами проблематики наших дисциплин) и подталкивали историков к поискам неординар-



ных ответов; объединенные усилия других феминистских исследовательниц делали эту работу значимой для нас. По крайней мере, две вещи объединяли нас: проблемы женщин, гендера и власти и (поскольку простое сравнение информации о женщинах не слишком продвинуло бы нас вперед) поиск теорий, которые предлагали бы альтернативные способы видения и знания. «Теории, - согласно известному высказыванию Стюарта Холла, - делают значения скользящими»<sup>33</sup>. И именно такая дестабилизация устоявшихся значений стала целью феминизма. Пересмотр теорий (марксизма, психоанализа, либерализма, структурализма, постструктурализма) и попытки сформулировать нечто, называемое нами феминистской теорией - всегда означали разрушение дисциплинарных барьеров, поиски общего языка, несмотря на принадлежность к различным академическим формациям. И, хотя многие историки, изучавшие женщин, вторили своим коллегам, полагая, что теория и история несовместимы, именно «теория» сделала возможной критику истории, которая допускала лишь единственного субъекта знания (историка) и определяла, какие темы заслуживают большего внимания для изучения. Признано это или нет, некоторые общепринятые аксиомы феминистского исторического анализа фактически являются теоретическими инсайтами по поводу того, как конструируются различия: о том, что не существует персональных или коллективных идентичностей без наличия другого (или других); не существует включенности без исключения; не существует универсального без отвергаемого партикулярного; не бывает нейтральности, которая не имеет привилегированных и заинтересованных точек зрения; а власть всегда присутствует при артикуляции этих взаимоотношений. Принятые за отправные точки анализа, эти аксиомы стали основой бурно развивающейся исторической науки.

Феминистская история подпитывается междисциплинарными контактами. Она усвоила некоторые приемы теоретической мысли, но по праву видит основную задачу в развитии самой исторической дисциплины. (В конечном счете, нас всех вдохновляет Клио). Напряжение между феминизмом и историей (между протестом и истеблишментом) оказалось сложным, но продуктивным - один раздвигает границы ортодоксальности, другой отстаивает границы дозволенного знания. Знаем мы это, или нет, отношения не односторонни. Феминизм видоизменяет дисциплину, критикуя ее проблематику с позиций гендера и власти, но без дисциплинарной проблематики не было бы феминистской истории. Поскольку проблематики меняются (только отчасти из-за влияния феминизма), феминистская история тоже меняется. В этом смысле История Феминизма остается паразитом по отношению к истории как науке. И будущее во многом зависит от того, какое направление примет сама наука. Где феминистская критика истории культуры? Рационалистских интерпретаций поведения? Где располагаются ныне признанные дисциплинарные границы толкования гендера? Как используются категории различий (расовых, сексуальных, религиоз-

ных, этнических, национальных и так далее), которые историки считают самоочевидными характеристиками людей прошлого? Эти вопросы, неустанная критика признанных постулатов знания и подходов, есть знаки активного, нацеленного в будущее феминистского критического желания<sup>34</sup>.

Если наши взаимоотношения с дисциплиной напоминают настойчивого овода, они схожи с отношениями наших коллег в других дисциплинах и в новых сферах междисциплинарного познания. Именно мы вводим временную составляющую в категории, которыми пользуются квир, постколониальные, транснациональные и глобальные исследования. Стратегические союзы неизбежно пользуются критическими инструментами; феминистские историки специализируются во временном измерении. Мы являемся релятивистами, когда речь заходит о значениях - мы знаем, что они изменяются во времени. И поэтому мы можем быть хорошими критиками культуры. Мы можем придать превалирующим сегодня истинам исторические основания и обнажить глубинные пласты формирования этих истин, используя прошлое в данном случае не как данность (обычно это делает официальная история), но как обрамление. В этой роли мы как двойные агенты: практикуем историю для углубления и заострения критик новых оппозиционных исследований, одновременно коварно отрекаясь от настойчивой приверженности нашей науки к последовательности и однонаправленности событий (от прошлого к настоящему). У двойных агентов нашего толка большое будущее, и эта работа возбуждает. Она дестабилизирует и нас, и тех, с кем мы сотрудничаем. Нет оснований беспокоиться, что наша идентичность останется неизменной, а мы будем удовлетворены тем, что делаем; всегда будет возникать необходимость для новых стратегических решений. Риск есть всегда, когда бросается вызов ортодоксальности (правой или левой). Но это риск, который был с самого начала свойствен Истории Феминизма, источник удовольствия и опасности, гарантия открытого будущего. Робин Вигман назвала свою новую серию в Дюк Юниверсити Пресс, посвященную феминистским исследованиям, «Следующая волна», тем самым утверждая, что конца Истории Феминизма нет, что поиски неизведанного будут всегда<sup>35</sup>.

«Ох уж это будущее..» - оно таит в себе опасность только, если отвергаешь феминизм. Феминистки не только политические субъекты, но и субъекты желания, и, как таковые, субъекты, которые творят историю. Эта концепция феминистской деятельности, которая движима стремлением к тому, что мы не можем знать до конца - желанием - придумана не мной, и она не нова. В 1983 г. Энн Снитоу, Кристина Стэнселл и Шэрон Томпсон издали книгу статей под названием «Сила желания: политики сексуальности»<sup>36</sup>. Ее главным посылом стало то, что женщины не только политические существа, но и сексуальные, и что изучение сексуальности - в самых различных аспектах - открыло «пространство игры, эксперимента...». Они также увязали феминистскую науку с желанием, и «желание», написали они, указывая на далекий горизонт, где «мы

можем увидеть то, что приближается именно к нам», «всегда возникает снова и снова»<sup>37</sup>. Я использую этот аргумент, выходя за рамки секса и сексуальности для того, чтобы описать дело феминизма как таковое. Наша деятельность - наше желание - это критика, это постоянное разрушение конвенциональной мудрости; демонстрация ее ограниченности для полного удовлетворения целей равенства. Оно приводит нас в неожиданные места. Мы не представляем, что в следующую минуту привлечет наше внимание, или вызовет гнев. Критика/желание, не имеют карты; это, скорее, позиция, определяющая недовольство настоящим. Ее путь можно увидеть только оглянувшись назад, но его движение неоспоримо<sup>38</sup>. Исторические исследования - особенно эффективная форма феминистской критики.

Древние изображения Клио порой включают в себя трубу и клепсидру (водяные часы), что, возможно, означает течение времени. Время, представляемое как поток, течение (сугубо женское представление), не так легко помещаемо в емкость. У нее также есть предметы письма, книги и свитки, говорящие о том, что именно она дала грекам финикийский алфавит. И если Клио дала нам инструменты производства знания, наша задача (как смертных) воспользоваться ими. Мы не богини и не можем, как она, рассказать «всеобъемлющую истинную историю (истории)», поэтому нами движет наша способность критики (вдохновенная и пробужденная Клио), извечное стремление к ревизии, стремление к новому знанию за пределами достигнутого, стремление рассказывать новые истории.

Поскольку Клио с самого начала была источником нашего вдохновения, неплохо бы знать некоторые малоизвестные вещи о ней. Музы не имели постоянного жилища: они танцевали на горе Олимп, но и гора Геликон тоже была их пристанищем. И они не сидели, и не ходили пешком - они летали. «... если они хотели попасть куда-то, они могли лететь, ибо именно так обычно путешествуют богини, что царь Пиреней из Даулы, который хотел изнасиловать их, узнал слишком поздно. Он погиб, когда прыгнул с башни замка, пытаясь поймать улетающих муз, которые ускользнули от него»<sup>39</sup>. Умеющие летать избегают опасности угнетения, тиранической власти ортодоксии. Полет - это еще и свободное парение; оно следует направлению желания. Если отбросить меланхолию, это путь, открытый для нас. И тогда страсть возвращается, готовая к новым поискам того, что еще не было продумано.

---

<sup>1</sup> Lois Banner and Mary Hartman, *Clio's Consciousness Raised: New Perspectives on the History of Women, Sex and Class in Women's History* (New York: Harper and Row, 1974).

<sup>2</sup> Plato, *Phaedrus*, 245a, trans. R. Hackforth (Cambridge: Cambridge University Press, 1952), 57.

- <sup>3</sup> <<http://eliki.com/portals/fantasy/circle/cliio.html>> and <<http://homepage.mac.com/cparada/GML/muses.html>>, both consulted 13 November 2002. I am grateful to Froma Zeitlin for these references.
- <sup>4</sup> *differences: A Journal of Feminist Cultural Studies* 9, no.3 (1997).
- <sup>5</sup> Anne Firor Scott, Sara Evans, Elizabeth Faue, and Susan Cahn, "Women's History in the New Millennium: A Conversation Across Three Generations," *Journal of Women's History*, Part 1.11 (spring 1999): 9-30; Part II 11 (Summer 1999): 199-220. Цитаты в тексте относятся к этой дискуссии.
- <sup>6</sup> Это вопрос одновременно внутренний и международный, наиболее явно представленный в работе Комиссии ООН по уничтожению всех форм дискриминации против женщин (CEDAW). See Franchise Gaspard, "Les femmes dans les relations internationales," *Politique Etrangere* 3-4 (2000): 731-41.
- <sup>7</sup> Jacques Derrida, "Women in the Beehive: A Seminar," in *Men in Feminism*, ed. Alice Jardine and Paul Smith (New York: Methuen, 1987): 190.
- <sup>8</sup> Bill Readings, *The University in Ruins* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996): 32.
- <sup>9</sup> Nancy Cott, *The Grounding of Modern Feminism* (New Haven, CT: Yale University Press, 1987).
- <sup>10</sup> Plato, *Phaedrus*, 245a.
- <sup>1</sup> Carroll Smith-Rosenberg, "The Female World of Love and Ritual: Relations Between Women in Nineteenth-Century America," *Signs* 1 (autumn 1975): 1-29.
- <sup>2</sup> Bonnie Anderson, *Joyous Greetings: The First International Women's Movement, 1830-1860* (New York: Oxford University Press, 2000); and Leila J. Rupp, *Worlds of Women: The Making of an International Women's Movement* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997).
- <sup>3</sup> Sigmund Freud, "Mourning and Melancholia", SEXIV, trans. James Strachey (London: Hogarth Press, 1995), 243,
- <sup>4</sup> *Ibid.*, 249.
- <sup>5</sup> Judith Butler, *Gender Trouble* (New York: Routledge, 1990): 57-66.
- <sup>6</sup> Глубокий анализ современной ситуации в женских исследованиях можно прочесть у Wendy Brown, "Women's Studies Unbound: Revolution, Mourning, Politics," *parallax* 9, no.2 (2003): 3-16.

- <sup>7</sup> Jacques Lacan, "Subversion of the subject and the dialectic of desire in the Freudian unconscious," in *Ecrits* (New York: Norton, 1977): 292-324. See also Dylan Evans, *An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis*, s.v. "desire" (London: Routledge, 1996): 37.
- <sup>8</sup> Jacques Lacan, *The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis* (New York: Norton, 1981), 154.
- <sup>9</sup> Wendy Brown and Janet Halley, eds., *Left Legalism/Left Critique* (Durham, NC: Duke University Press, 2002), 28.
- <sup>20</sup> *Ibid.*, 26.
- <sup>1</sup> *Ibid.*, 30.
- <sup>22</sup> *Ibid.*, 29.
- <sup>23</sup> *Ibid.*, 32.
- <sup>24</sup> Joan W. Scott, *Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996).
- <sup>25</sup> Wendy Brown, *States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995).
- <sup>26</sup> Gayle Rubin, "The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex," reprinted in Joan W. Scott, *Feminism and History*, Oxford Readings in Feminism. (Oxford: Oxford University Press, 1996), 105-51.
- <sup>27</sup> Natalie Zemon Davis, "Women's History' in Transition: The European Case," reprinted in *Feminism and History*, 79-104.
- <sup>28</sup> Публикацию материалов конференции можно прочесть у Carole S. Vance, ed., *Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality* (New York: Routledge, 1984).
- <sup>29</sup> Denise Riley, *Am I That Name? Feminism and the Category of 'Women' in History* (London: Macmillan, 1988).
- <sup>30</sup> Ann Snitow, "A Gender Diary," in *Conflicts in Feminism*, ed. Marianne Hirsch and Evelyn Fox Yeller (London: Routledge, 1990): 9-43.
- <sup>1</sup> Evelyn Brooks Higginbotham, "African-American Women's History and the Metalanguage of Race," reprinted in *Feminism and History*, 183-208, esp. 202.

- <sup>32</sup> Afsaneh Najmabadi, "Teaching and Research in Unavailable Intersections," *differences: A Journal of Feminist Cultural Studies* 9, no.3 (1997): 76.
- <sup>33</sup> Stuart Hall, cited in Wendy Brown, *Politics Out of History*. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001), 41.
- <sup>34</sup> See Ellen Rooney, "Discipline and Vanish: Feminism, The Resistance to Theory, and the Politics of Cultural Studies," *differences: A Journal of Feminist Cultural Studies* 2 (Fall 1990): 14-28.
- <sup>35</sup> Robin Wiegman, "What Ails Feminist Criticism?: A Second Opinion," *Critical Inquiry* 25 (winter 1999); and Robin Wiegman, "Feminism, Institutionalism, and the Idiom of Failure," *differences: A Journal of Feminist Cultural Studies* 11 (autumn 1999/2000): 107-36.
- <sup>36</sup> Ann Snitow, Christine Stansell, and Sharon Thompson, eds., *The Powers of Desire: The Politics of Sexuality* (New York: Monthly Review Press, 1983).
- <sup>37</sup> *Ibid.*, 43.
- <sup>38</sup> Brown and Halley, *Left Legalism/Left Critique*, 33.
- <sup>39</sup> <<http://homepage.mac.com/cparada/GML/MUSES.html>>, consulted 13 November 2002.